
Геннадий БОРДЮГОВ

СМЫСЛЫ БУДУЩЕГО В РОССИИ XX ВЕКА Модели власти и интеллигенции

Все будет хорошо. Россия будет великой.
Но как долго ждать, и как трудно дожждаться.

Из записной книжки Александра Блока, 1917 год

XX век, как никакой другой, подтвердил роль времени как атрибута господства. К примеру, большевики, а они были у власти три четверти века, сразу же изменили календарь и стали вести отсчет новой эры с 1917 года. Потом будут членения времени на десятилетия революции, эпохи вождей, на пятилетки (с их определяющими, решающими, завершающими годами), на этапы строительства социализма (в основном, полное и окончательное, развитой социализм), от съезда к съезду. Членениям времени не случайно придавалось такое значение. Как заметил Элиас Канетти, они соединяют в одно целое людей, которые живут в рассеянии, на большом отдалении друг от друга и не могут знать друг друга в лицо. Когда сеть мелких орд, стай, «вытанцовывающих свое время», расширяется, возникает необходимость следить за общим временем. Временем движения в будущее.

Но что это за будущее, в какие формы оно облечено? Ведь массовому сознанию чуждо расщепление времени на будущее и

настоящее. Следовательно, идеология, оформляющая массовую культуру, по определению не утопична. Утопия, по крайней мере XX века, подразумевает программу продвижения к идеальному будущему. Этой проблемой, как известно, была озабочена по преимуществу интеллигенция. Но ее «хождение во власть» привело к тому, что за смысловую перспективу движения в России возникла острая конкуренция между властью и интеллигенцией. Эта конкуренция нередко переходила в ожесточенное столкновение с тяжелыми последствиями. Обе стороны хорошо усвоили один из важнейших принципов жизни: «Для того чтобы достигнуть какой-то определенной цели, следует стремиться не к самой этой цели, но к чему-то еще более возвышенному, находящемуся за пределами данной цели» (Арнольд Тойнби). Этот принцип очень часто применяется именно к российскому типу сознания – русского человека трудно подвигнуть на дело во имя повседневности, здесь требуется иная мотивация: во имя «великих идей» и целей. В XX веке такой великой целью стал коммунизм.

Власть использовала свой инструментарий для его представления – партийные программы, манифест строителей будущего, «Азбука коммунизма», капсулы с посланиями будущим поколениям и др. У интеллигенции были свой подход и свои средства. В XX веке они определялись двумя главными стержнями – утопической культурой 20-х и футурологической 60-х годов.

Власти, для того чтобы поддерживать «верные» представления о будущем, необходимо было все время играть на повышение – все выше и выше поднимать планку обещаний, использовать сюжеты «было–стало», а для убедительности перехода от «есть» к «будет» не только наглядно и конкретно показывать, но и увеличивать масштабы грядущего изобилия. Интеллигенции в этом отношении проще, поскольку и художественная культура, и наука по определению ориентированы на будущее. Творцы свободны и в представлении его образов.

Власть не стеснялась использовать в борьбе за смыслы цензуру, подкуп и прямые репрессии. Но чем жестче проявлялись контрольные функции государства, тем изощреннее и фантастичнее становились язык и средства передачи мыслей у интеллигенции. В конце концов только через будущее и стал возможен разговор о настоящем.

НАЧАЛО ВЕКА: СМЫСЛОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

С огромными просторами и богатствами вступала Россия в XX век. По плотности населения она тяготела к Европе, а географически – к Азии. Городские жители буквально тонули в море сельских. И размеренный ход жизни крестьян, определяемый сменой времен года, казалось, не предполагал никаких потрясений в будущем. Правда, условия жизни выталкивали из деревни миллионы людей. Миграционные процессы, социальная динамика меняли общественную атмосферу. К тому же Россия была самой «молодой» страной мира (почти половина населения была моложе 20 лет) и стояла на одном из первых мест по уровню рождаемости. Поэтому потенциал ожиданий и устремлений нарастал с каждым годом.

В то же время власть по-прежнему придерживалась уваровской триады «Православие–Самодержавие–Народность», лежащей в основе государственной идеологии. И даже эволюционируя в сторону конституционализма, верховная власть стояла на защите старорежимных общественных институтов.

В 1902 году авторы сборника «Проблемы идеализма» (здесь и далее фрагментарно использованы материалы исследовательского доклада группы «ИНТЕЛПРОС» «Проект “Россия”») попробовали переосмыслить мировую идеалистическую традицию с целью синтеза ее в качественно новый мировоззренческий сплав, противоположный позитивизму. Гносеологическим прорывом такого сплава должен был стать отказ от признания опытной науки безальтернативным «производителем» рациональности. Если «над жизнью нет судии» и все позволено (любой эксперимент – марксизм, ницшеанство, а позднее фрейдизм в его многочисленных производных), то логическим концом истории является антропологическая катастрофа. Рано или поздно, по мере снятия моральных и более глубоких препон, на повестке дня оказывается идея «онтологического первенства ничто».

Мысль, зародившаяся в подобном гипотетическом «антиидеале», претворяется рано или поздно в практические действия по организации тотального кризиса, чтобы «мыслящей субстанции» либо раствориться в небытии, либо обрести сразу и вдруг бытие иное. Но помимо этой общей позиции, по сути, обнажившей смысловые горизонты

начинавшегося XX столетия, в «Проблемах идеализма» утверждалось нечто более частное, прагматичное: принципиальное различие критериев рациональности и практических интересов. Кроме того, указывался путь преодоления нигилистического релятивизма через признание кардинального несовпадения фактически существующего и нормативно должного. Иными словами, провозглашалась онтологическая самоценность этики, восстанавливалось ее право выносить моральную оценку политике.

Книга предлагала, в частности, собственную оригинальную интерпретацию мысли народнического идеолога Николая Михайловского, ставшей к тому времени своеобразным интеллигентским «символом веры», – тезиса о необходимости воссоединения «правды-истины» с «правдой-справедливостью». Утверждалось, что подобный «метафизический синтез» (Сергей Булгаков) – удел отдаленного будущего, на пути к которому они непременно должны пройти стадию самостоятельного субъектного существования. Однако подобный метафизический ориентир сам по себе выводил на неприемлемый для позитивистского мировоззрения путь. Как метко выразился по этому поводу Петр Струве, «марксизмом, породившим из своих недр метафизику, русский позитивизм закончил полный круг своего развития».

Между тем при всей глубине и неординарности заявленных идей основное послание сборника-манифеста звучало все-таки двусмысленно: указывая, что именно следует сконструировать, «Проблемы идеализма» обходили стороной другой ключевой вопрос – как реализовать задачу. Таким образом, произведя интеллектуальный продукт, обладавший значительным проектным потенциалом, авторы фактически остановились на полпути, предпочтя эффективную позицию – позитивной работе, а свои корпоративные амбиции – интересам государства, этой деятельной социальной машины, идентифицируемой ими с враждебным режимом. В результате для интеллигентских «масс» концептуальная суть сборника осталась диковинной ветвью оппозиционности, в то время как прочитанное (а то и додуманное) между строк превзошло по своей значимости сказанное открытым текстом.

Смута 1905–1907 годов кардинально повлияла на общественно-политический ландшафт страны и, главное, на мировоззрен-

ческие установки, которые считались в среде интеллигенции до сей поры незыблемыми. Результатом произошедшей переоценки ценностей стали изданные в 1909 году «Вехи». В отличие от «Проблем идеализма», предлагавших новую идеологическую модель, лейтмотив «Вех» был преимущественно негативным, и заключался он в сокрушительной критике русской интеллигенции. Однако негативизм сам по себе не исключал особого рода проектности: последняя совсем не обязательно сводится лишь к предложению позитивно-содержательного. (Яркий, хотя и экстремальный, тому пример – радикальные революционные проекты, подчас организованные по принципу: «Главное – ввязаться в борьбу, а разбираться будем после победы».) А с точки зрения масштабности «Вехи» выглядели безукоризненно. Они выносили приговор не только и даже не столько русской интеллигенции, сколько всей породившей ее петровской политической культуре, основанной на механистичном, игнорирующем личностное начало понимании социального.

О подобных «прагматичных эмпиреях» «веховцы», в общем-то, не помышляли, хотя жажду новых смыслов, очевидно, испытывали. И будучи плоть от плоти интеллигенции, конечно же, имели predisposition к «напряженному исканию Града Божия» (Сергей Булгаков). Правда, поиск этот оставался в пределах привычных для них структур повседневности.

НОВАЯ РЕЛИГИЯ

Февральская и Октябрьская революции 1917 года подхлестнули не только желание немедленно наверстать отставание России от Европы, но и предложить последней свои ориентиры будущего в разных областях жизни. Лозунг «Догнать и перегнать Европу» был характерен практически для всех послефевральских политических движений, разногласия касались лишь способов ее обгона. Даже кадеты, сделав ставку на правовые преобразования, предложили избирательный закон, который намного опережал соответствующую электоральную правовую базу во Франции и США. И если избирательное право для женщин, предлагаемое кадетами, сущес-

твовало только в Норвегии и Дании, то избирательного права для военнослужащих, отмены имущественного ценза, ценза оседлости и грамотности, установления возрастного ценза в 20 лет не было нигде в мире.

Большевики же поразили всех небывалыми социальными намерениями: земля – крестьянам, фабрики – рабочим, «экспроприация экспроприаторов». Немыслимым казалось и само устройство власти. Ленин, возглавив Совет народных комиссаров, целых пять месяцев был убежден в осуществимости идеи государства-коммуны, государства без полиции, без бюрократии, без постоянной армии, без привилегированных людей, оторванных от масс и стоящих над массами. Государства, где все на время становились бюрократами, и поэтому никто не мог стать бюрократом. Власть измеряла действительность идеями мировой революции, коммунизма, до которых чуть ли не рукой подать. Коммунизм как новая религия взамен старой «дисциплинировал и организовывал в стихии русской революции» народные массы (Николай Бердяев). В движении к идеалам не допускались полумеры и постепенность. То, что не подходило, можно было беспощадно сокрушать: нет ничего невозможного – что захотим, то моментально сделаем.

В декабре 1920 года власть утверждает буквально фантастический по своей амбициозности план Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). Разработанный 200 учеными и инженерами, он предусматривал строительство 30 крупных электростанций в европейской части страны. Это был первый не только в России, но и во всем мире перспективный план развития экономики (и он был выполнен к началу 30-х). Хрестоматийно, но уместно вспомнить, как Герберт Уэллс усомнился в реальности этого плана и назвал Ленина «кремлевским мечтателем». «Можно ли представить себе, – удивлялся писатель-фантаст, – более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасли торговля и промышленность?»

Идея всемерного ускорения времени, всепоглощающая жажда нового, где не властны законы былого, быстро охватывали и помыслы российской интеллигенции. Крестьянский вариант утопии

Робеспьера о республике «равных собственников» предлагает в 1920 году Александр Чаянов в фантастическом романе «Путешествие моего брата Алексея в стране крестьянской утопии». Казимир Малевич пророчествовал: «С каждым днем природа выходит все больше и больше из старого зеленого мира, мяса и кости и придет к тому моменту, что зеленый мир угаснет, как угас ландшафт первых эпох»; «и не мой ли мозг образует собой плавильную фабрику, из которой бежит новый железный преображенный мир, и как с улья универсальности летят жизни, которые мы называем изобретениями».

Такие изобретения предлагает Владимир Татлин – памятник III Интернационалу и летательный аппарат, приводящийся в движение силой человеческих мускулов, – «Летатлин». Особенно впечатлял проект памятника. Четырехсотметровое высотное сооружение в виде винтовой башни – социально-технически-художественная конструкция. Здесь должны были разместиться руководство III Интернационала и телеграфное агентство, распространявшее по всему миру идеи коммунизма. Здесь же пролетарская масса должна была торжественно встречаться со своими лидерами, и эти встречи предполагалось превратить во встречи Труда, Праздника и Знания, встречи революции русской и мировой, настоящего с будущим, с планетарной вечностью. Своими размерами, пропорциями, ритмом движения вращающихся объемов башня должна была быть включена в динамику мироздания, наследуя величайшим в истории человечества сооружениям – от вавилонского зиккурата до башни Эйфеля.

Однако не все разделяли оптимизм по поводу будущего. В «Грядущих перспективах» (1919 год) Михаилу Булгакову оно мыслилось совсем по-другому. «Наша несчастная родина, – писал он, – находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала “великая социальная революция”». А «настоящее перед нашими глазами <...> таково, что глаза хочется закрыть. Не видеть!» В пример России Булгаков ставил Запад. Там закончилась «великая война великих народов», там «зализывают свои раны». И всем, у кого «прояснился ум», всем, «кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, кото-

рый вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества». Перспективы Советской России виделись Булгакову мрачно: «Мы опоздаем. <...> Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же наконец мы догоним их и догоним ли вообще. Ибо мы наказаны. Нам немыслимо сейчас созидать».

Будущее ассоциировалось у Булгакова с моментом расплаты, которая уже началась. Нужно будет заплатить за прошлое «неимоверным трудом, суровой бедностью жизни», заплатить «за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест». И только затем начнется процесс созидания. Но современники не увидят светлые дни. Возможно, дети, а быть может, только внуки, ибо размах истории широк. Представителям же неудачливого поколения придется сказать новым поколениям: «Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!»

«С ВРЕМЕНЕМ ЧТО-ТО НЕЛАДНОЕ»

Инерция НЭПа не остановила устремленности к социализму. Власть крепко держала в своих руках инициативу в деле формирования образа будущего страны и конструирования способов его приближения. Да и страна уже стала Союзом Советских Социалистических Республик, в котором исчезла историческая Россия. СССР выдвинул поразившую весь мир программу индустриальной модернизации. Но большевики замахивались на гораздо большее. Их кредо метко сформулировал в 1925 году Лев Троцкий: «Овладейте чувствами, понять инстинкты, сделать их прозрачными, протянуть провода воли в подспудное и подпольное и тем самым поднять человека на новую биологическую ступень, создать более высокий общественно-политический тип, если угодно – сверхчеловека».

Однако нэповское отступление было по-другому прочитано в интеллигентской среде. Новые идейные течения – «сменовеховство» и «евразийство» – выдвинули свои, альтернативные большевизму, смыслы будущего. В сборниках-манифестах 20-х годов – «Смена

Вех» и «О Смене Вех», «Исход к Востоку», «На путях» – и в «Евразийских временниках» тех же лет революция и коммунизм рассматривались не как цель, содержание и тем более не как итог развития России, но как инструмент, условие, возможность ее смыслового преобразования.

«Сменовеховцы» – Юрий Ключников, Николай Устрялов, Сергей Лукьянов, Александр Бобрищев-Пушкин, Сергей Чахотин, Юрий Потехин – ограничивались собственно констатацией данного обстоятельства. Евразийцы же – в особенности их авангард: Петр Савицкий, Петр Сувчинский, Николай Трубецкой, Лев Карсавин – стремились не только ухватить тенденцию, но также просчитать ее историческую перспективу с помощью расшифровки генетического кода русской истории (как они его понимали). С гибелью «петербургской России», полагали они, улетучилась и накопившаяся за два столетия «всеобщая усталость от державности», прояснились ориентиры оригинального – вне рамок европейского контекста – «задания». Новая русская идеология, идущая, по их мнению, на смену марксистской, должна стать одновременно методологией этого «задания». Советский строй лишь создал условия, высветил «удачно намеченное» направление движения; благодаря ему «органически» возник образ иной, грядущей, превосходящей существующую, переходную по своему содержанию форму государственности. Инновационное наполнение евразийского проекта потрясает амбициозностью: к примеру, мобилизация виделась не просто оптимальным для России способом продвижения в истории, но ее онтологическим самостоянием и даже... уникальным опытом управления временем. Предложенная модель мобилизационного мирочувствования («апогея») предполагала, по сути, практическое использование энергий неумолимого Хроноса.

С интересом наблюдая за «сменовеховцами» и «евразийцами», большевики решили дискредитировать оба течения, объявив их идеологией новой буржуазии. «Мечтать у нас не запрещено», – иронизировал Сталин. Но пусть знают, и это звучало уже как угроза, что, «мечтая о перерождении», они должны «вместе с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу». Иначе «будет плохо».

Смутные ощущения об установлении какой-то другой системы все чаще посещали проницательных художников. «Идем в

сплошное непонимание; и с временем что-то неладное; летели, ускоряясь, времена; и вдруг – стоп: будто все стало; будто и нет движения», – писал Андрей Белый в 1925 году. «Нет, – уточнял он, – не стояние, а – разрыв времени; в центре времени – нуль времен; в обнаружившейся впервые временной периферии, наоборот – нарастание времени; верней – шаровое время: вот как пошли времена!» Линейно – «время оборвалось»; началась «какая-то другая временная циркуляция». Эйнштейновское время для Белого – лишь симптом происходящей революции в культуре Кантовых априорных форм чувственности. «Революция – в самом мире *a priori*». Научные открытия «лишь результируют до открытия его выплавляющую карму; научный закон, вчера найденный и твердо установленный, лишь протокол судебного процесса человечества над собой: “Ты сам себе свой высший суд”. Все то, что совершается внутри нас и вне нас, во вселенной, есть приведение в действие предваряющего эти действия “Самосуда”».

Михаил Булгаков высказался более определенно в «Роковых яйцах» (1925 год). Писатель позаимствовал фабулу произведения Герберта Уэллса «Пища богов» (1904 год), где речь идет о чудесной пище, ускоряющей рост живых организмов и развитие интеллектуальных способностей у людей-гигантов, причем рост духовных и физических возможностей человечества приводит в романе к более совершенному миропорядку и столкновению мира будущего – мира гигантов и мира пигмеев. Однако у Булгакова гигантами оказываются не интеллектуально продвинутые человеческие индивиды, а особо агрессивные пресмыкающиеся. Довольно весело пересказала фантазии автора эмигрантская газета «День» (Берлин): «Профессор изобретает способ необыкновенно быстрого размножения яиц при помощи красных солнечных лучей. <...> Советский работник, Семен Борисович Рокк, крадет у профессора его секрет и выписывает из-за границы ящички куриных яиц. И вот случилось так, что на границе спутали яйца гадов и кур, и Рокк получил яйца голоногих гадов. Он развел их у себя в Смоленской губернии (там и происходит все действие), и необозримые полчища гадов двинулись на Москву, осадили ее и сожрали. Заключительная картина – мертвая Москва и огромный змей, обвинившийся вокруг колокольни Ивана Великого».

Потом, правда, концовка была переработана в более оптимистическом духе: наступил мороз и гады вымерли. На счастье, цензура видела в походе гадов на Москву только пародию на интервенцию 14 государств против Советской России в годы Гражданской войны (гады вылупились из заграничных яиц). Поэтому взятие полчищами пресмыкающихся столицы мирового пролетариата воспринималось цензорами лишь как опасный намек на возможное поражение СССР в будущей войне с империалистами и разрушение Москвы в этой войне. Однако на самом деле система образов содержала иные факты и идеи. Для изобретателя «красный луч», с помощью которого выводятся чудовища, – это символ революции в России, совершенной под лозунгом построения лучшего будущего, но ведущий к террору и диктатуре.

«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»

Работая над «Роковыми яйцами», Булгаков и не предполагал, какая волна насилия во имя Светлого Завтра подступает к стране. На рубеже 20–30-х годов власть осуществила раскрестьянивание страны, сломала хребет кулачеству, загнала середняков и бедняков в колхозы – «социалистические базы» в деревне. Огромная цена платилась за то, чтобы в 30-е каждый год вводить до 600 новых предприятий. Но «задержать темпы – это значит отстать. А отстающих бьют». Эти слова услышала страна из уст Сталина в 1931 году. А через год главным слоганом власти станет «Время, вперед!» (Валентин Катаев).

Оформляется проект «Северный морской путь» – от Белого моря до Берингова пролива. Он получил колоссальную популярность, стал «ударной частью» образа «нового мира». На Крайнем Севере создавалась целая страна – воздвигались морские, речные и авиационные порты, новые города. Морскую трассу обслуживали парохозяйства, гидрографические и промышленно-транспортные предприятия. Действовали научные институты и сеть полярных гидрометеостанций. Специальный ледовый и мощный ледокольный флоты обеспечивали СССР абсолютную монополию в Арктике. Романтика освоения заполярных широт – экспедиция Ивана Папанина,

поход ледокола «Челюскин», героический сюжет «Двух капитанов» – с детства западали в память. Казалось естественным, что героический прорыв на Север был делом новой власти, замышлявшей глобальное переустройство человека и Вселенной. Полярные станции, ледоколы, арктические авиаперелеты – все это воспринималось как нечто, создававшееся с нуля, как одна из граней, отделявшая «проклятое прошлое» от «светлого настоящего» и еще более светлого будущего. При этом забывалось (точнее, затушевывалось), что успех СССР в освоении Крайнего Севера – это кульминация процесса, развивавшегося в течение многих столетий и объединившего усилия разных народов Европы.

Освоение Арктики сочеталось с разворачивавшимся одновременно «штурмом небес». Полеты в стратосферу, дальние авиаперелеты не переставали удивлять человечество. В июне–июле 1937 года весь мир потряс полет экипажей самолетов Валерия Чкалова и Михаила Громова из Москвы через Северный полюс в Северную Америку. Этими двумя перелетами из Европы в Америку были установлены два мировых рекорда беспосадочного полета – по прямой и ломаной линиям. Наглядным воплощением приближающегося будущего и символом новой страны стало московское метро – недра косной природы пронизаны сообщающейся системой подземных сияющих дворцов. Как демонстрация мощи страны, раскрепощения и справедливо направленной стихии воспринимался и 128-километровый искусственный канал Москва–Волга. «Сухопутная» Москва стала портом трех морей: Балтийского, Белого и Каспийского.

Казалось, действительно для власти нет преград «ни в море, ни на суше». Изменив социальный строй, можно приступить к созданию нового человека. Носители его черт отчетливо просматриваются в персонажах хрестоматийных портретов 30-х – текстильщицах, механиках, колхозниках, вузовцах, рабфаковцах, совпартшколовцах, летчиках, футболистах, авиамоделистах, осоавиахимовцах.

Власть поначалу поддерживала и устремление к растворению личной жизни в общественной, подчинению сферы быта сфере труда. Ведь трудящийся не может усвоить коллективистские ценности, когда весь его быт и бытовые интересы носят индивидуалистический характер. Концепции нового быта ориентировали на «без-

бытное» существование. Так называемая идея дестационаризации повседневной жизни затрагивала не только мир привычных вещей, естественных отношений с окружающей предметной средой, но и область человеческих чувств. Любви друг к другу, к своим детям и родителям в этих планах будущего отводилось незначительное место. Задачи семьи сводились к организации удовлетворения физиологической потребности и функции детопроизводства, а во всем остальном семью должен был заменить коллектив. Возникавшие повсюду бытовые коммуны замыкались внутри себя, отгораживались от мира.

«Ребята жили словно на отдельном острове, – писал журналист Яков Ильин о коммуне, созданной на Сталинградском тракторном заводе. – Казалось, они хотели инкубационным путем создать новую породу людей. Все свободные от работы часы они тратили на обслуживание своей коммуны, на то, чтобы блюсти чистоту коммунарского устава, на собрания и заседания, где до хрипоты в горле спорили: обобществлять ли шестьдесят процентов заработка или все сто, можно ли коммунару иметь свой отдельный выходной костюм, можно ли в комнате запирается для занятий. <...> Гнет этической дисциплины превратил их в пленников своих собственных уставов. Они, сами того не зная, опошляли коммунизм, отнимая право на отдельное белье, на комнату». В этом же контексте возникали проекты перепланировки существующих городов с полным обобществлением всех сторон быта: питания, жилья, воспитания детей с отделением их от родителей. Правда, затем у власти хватило воли указать на необоснованность вредных попыток «одним прыжком» переустроить быт – проведение этих вредных, утопических начинаний привело бы к громадной растрате средств и дискредитации самой идеи переустройства быта.

Красноречиво свидетельство левого немецкого журналиста, посетившего СССР в 1932 году: «Новый миф родился в России, миф творения мира человеком. Вначале был хаос, капитализм. <...> Потом пришли Маркс, Ленин, Красный Октябрь. Хаос был преодолен в ходе ожесточенной борьбы. <...> Теперь Сталин создает в ходе пятилетнего плана порядок, гармонию и всеобщую справедливость. <...> Это простой и ясный миф. В нашу эпоху, лишенную веры, жаждущую абсолютных истин, он влечет за собой».

И многие художники уловили это упоение мифом о счастье. Он проникал в души людей, он нес радость, надежду на лучшее завтра, служил оправданием утрат и жертв. Убедительно в этом контексте звучат часто цитируемые воспоминания представителей пореволюционной интеллигенции. Александр Солженицын недвусмысленно признает: «Наше поколение до войны было совершенно обморочено коммунизмом. Мы еще искренно разделяли ложные эти идеи». «Столкновение с иррациональной силой, иррациональной неизбежностью, иррациональным ужасом, – писала Надежда Мандельштам, – резко изменило нашу психику. Многие из нас поверили в неизбежность, а другие – в целесообразность происходящего. <...> Я утверждаю, что все мы <...> находились в состоянии, близком к гипнотическому сну. Нам действительно внушили, что мы вошли в новую эру и нам остается только подчиняться исторической необходимости, которая, кстати, совпадает с мечтами лучших людей и борцов за человеческое счастье».

Кульминацией «обморочивания» стал Дворец Советов Бориса Иофана, архитектурный замысел которого был утвержден в 1932 году. Это был суперпроект революционного авангарда, каковым раньше была татлинская башня III Интернационала, и он был поручен архитектору и будущим строителям «новой эпохи». Но символическая вертикаль башни теперь укладывалась в плоскость иных политических реалий. «Искусству социальной режиссуры» предстояло разыграть действие миллионов в конкретной градостроительной ситуации, в контексте Генерального плана реконструкции Москвы (1935 год) – будущего Третьего Рима мирового пролетариата. Его «священную дорогу» зрительно представил искусствовед Александр Морозов. Начинается она с Красной площади, щусевского Мавзолея, в котором сохраняется тело Ленина-бога, фасада гостиницы «Москва». Двумя рукавами – вдоль реконструированной Моховой с ее классическими фасадами и по набережной (парадному новому обрамлению Москвы-реки, щедро подпитанной будто для этого именно и пришедшей в столицу волжской водой, с величественными мостами корифеев «сталинской классики» Алексея Щусева, Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха) – ритуальный путь вел к площадке Дворца Советов на месте взорванного символа прежней веры – храма Христа Спасителя. Далее массы, следовавшие сюда

в дни всеобщих манифестаций, через Крымский мост Александра Власова направлялись в стерильные рекреационные пространства Центрального парка культуры и отдыха.

Суперпамятник не был реализован, но и без него новая эра была запечатлена в павильонах СССР на всемирных выставках в Париже (с величественной скульптурой Веры Мухиной «Рабочий и колхозница») и Нью-Йорке (1937 и 1939 годы), канале Москва–Волга с многометровыми «колоссами» – статуями обоих вождей. Парад «большого стиля» продолжался на ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставке), которая вошла в набор чудес преобразования этого мира: гипотетический Дворец Советов, московское метро, канал Москва–Волга. Композиция выставки объективизировала новый миропорядок. Как и Генеральный план реконструкции Москвы, она очищала пространство от исторических напластований, представляла центр нового мира как иерархию новейших стерильных ансамблей. Тщательно продуманный план – залог правильного развития будущей жизни. Не случайно планировщики выставки в 1937 году были обвинены во вредительстве – в существовании замкнутых участков и в самой неясности планировки был усмотрен факт умышленного вредительства. Искусствовед Галина Яковлева обращает наше внимание на часто встречающиеся в павильонах ВСХВ карты-планы региона или республик из полудрагоценных камней, увитых гирляндами декоративных цветов и плодов. В них как бы сразу явлено должное состояние края, и сам план был достижением новой культуры. Сакрализация плана – свидетельство отсутствия в массовом сознании категории естественного времени, течения истории. Жизнь, можно сказать, состоит из дискретных актов перерождения мира и навечной фиксации этих актов в пространстве. Отсюда, очевидно, особая забота идеологии об архитектурной организации пространства страны. План, перспектива – строго говоря, не проект, а муляж будущего. Собственно, «панхудожественное» отношение к среде совершенно не говорит о переизбытке эстетических потенций реконструктивной идеологии. Просто композиция являлась самым простым инструментом организации этой жизни в иерархическую обозримую непрерывность, которая должна была имитировать естественную непрерывность жизни. По архитектуре ВСХВ видно, что только законченный

ансамбль имеет возможность передать достижения нового человечества в деле реконструкции природы.

Показательно в связи с этим предложение театрального художника Штофера изготовить для павильона пчеловодства специальные макетные элементы каркаса Дворца Советов, которые пчелы заполнят сотами. В этой символической идее заложена глубокая значимость для культуры Дворца Советов как апофеоза развития природы и истории.

Другой апофеоз был связан с «Кратким курсом» истории ВКП(б). Весь текст этой «книги книг» пронизан представлением новой эпохи вне исторического времени. Самый справедливый на свете строй обращен в «будущее», которое строится «с чистого листа». Конечно, этому мешают «демоны», но им не увести массы со «светлого пути». Однако обращение к понятиям «Родина», «Отечество», столь характерное для второй половины 30-х годов, внесло определенное смятение в сознание наблюдателей: Сталин превращался в антиутописта. Но, как точно заметил Михаил Гефтер, Сталин был «оборотнем утопии» – просто теперь утопия становилась сталинской.

Об утопии размышлял в те годы и Михаил Булгаков. В пьесе «Блаженство» с подзаголовком «Сон инженера Рейна в четырех актах» (она была позднее превращена в «Ивана Васильевича», но до 60-х не публиковалась и не ставилась) представлена страна коммунистически-технократической утопии будущего, и называется она «Блаженство». Во главе ее стоит народный комиссар изобретений Рамаданов (намек на Сталина), а идеологическая монополия принадлежит Институту Гармонии (намек на созданную утопистом Робертом Оуэном колонию «Новая Гармония»). Институт регламентирует всю жизнь граждан «Блаженства». Оно космополитично и безнационально. Один из героев блюдет предустановленную коммунистическую гармонию. Он – противник всяких нарушающих ее проявлений живой жизни, которую олицетворяют прибывшие в «Блаженство» с помощью машины времени инженер Рейн, управдом Бунша и вор-рецидивист Милославский. Жизнь конструируется по идеальному плану, вследствие чего жить в «Блаженстве» оказывается невыразимо скучно.

За каждым персонажем пьесы скрывались реальные лица из власти или интеллигентского сообщества, за каждым спором – не-

выдуманные разговоры. Правда, все это в те годы так и не дошло до читателя. Однако доступным по-прежнему оставался визуальный ряд, создаваемый художниками. В нем тоже происходили серьезные изменения. И от внимательных критиков не ускользнули ставка на иерархичность, культовость и авторитаризм, академичность, утрата романтизма, регламентированность, исчезновение свежей утопической веры.

ФОРМУЛА НОВОЙ ЦЕЛИ

Великая Отечественная война, как это ни парадоксально, вернула в сознание людей веру в хорошее будущее. К концу войны в стране возникла своеобразная общественная атмосфера – редкая спайка власти и интеллигенции. Очень много разговоров и слухов было связано с послевоенными ожиданиями. Они касались раздела колхозов, частной торговли, свободы различных политических партий. Люди стали смелее и практичнее вглядываться в будущее. Кинорежиссер Александр Довженко писал о том, как поразила его одна беседа с бойцом-шофером, сибирским юношей: «Плохо живем. <...> И все мы, знаете, ждем, чтобы были какие перемены и пересмотры нашей жизни. Все мы ждем. Все. Только этого не говорят». Довженко комментировал: «У народа есть какая-то массовая огромная потребность каких-то других, новых форм жизни на земле. Это я слышу всюду. Этого я не слышал и не слышу только среди руководящих лиц».

Владимир Вернадский записывал в дневнике: «Невольно думаешь о ближайшем будущем. Сейчас совершается сдвиг – и, вижу, многим тоже так кажется – огромного значения. <...> Союз с англосаксонскими государствами-демократиями, в которых в жизнь вошли глубоким образом идеи свободы мысли, свободы веры и формы больших экономических изменений с принципами свободы. <...> Будущее ближайшее принесет нам много неожиданного и коренное изменение условий нашей жизни».

Значительная доля размышлений касалась экономической политики. Конечно, руководители оборонных наркоматов и предприятий проявляли осторожность, поскольку не было правовых основ

для самостоятельности, отмены фондов снабжения, хозрасчета, индустриальной социологии и т.д. Но вот неизвестный экономист Николай Сазонов осмелился в 1943 году представить в Институт экономики АН СССР свою диссертацию «Введение в теорию экономической политики». Ее эффективное будущее он увидел в преодолении положения, когда основная доля доходов принадлежит не предприятиям, а государству, когда большая часть этих доходов проводится через госбюджет. Такой порядок бюрократизировал все финансовое хозяйство страны. Для быстрого развития послевоенной экономики Сазонов предлагал переключить работу хозяйственного оборота на коммерческие рельсы, продавать ширпотреб по складывающимся ценам вольного рынка. Он считал необходимым отказаться от планового вмешательства в хозяйственные процессы, отменить централизованную систему фондирования, предоставить руководителям право свободно маневрировать фондами материалов, рабочей силы и зарплаты. Подробно обосновывались меры по организации широкого привлечения и использования иностранных капиталов в форме акционерных обществ и концессий. Предлагалось отменить монополию внешней торговли и заменить ее рациональной таможенной системой. Академики расценили исследование Сазонова как крамолу, как попытку возвращения к капитализму.

И тем не менее в высшем руководстве зрело понимание изменений в политике и идеологической системе. Возникшее взаимопонимание между властью и интеллигенцией не могло решаться вопросом «быть или не быть». Андрей Жданов новые возможности спайки видел в решении трех задач: советском гуманизме, «победившем идеологию звериного человеконенавистничества», в укреплении дружбы народов и поднятии культурно-технического уровня рабочих и крестьян до уровня технической интеллигенции «через слом идеологических пережитков невежества, фанфаронства и чванства». Однако в 1947 году баланс в идеологической системе нарушился, холодная война стала топливом для разжигания новой, более опасной волны национализма, перераставшего в шовинизм и борьбу с космополитизмом. Роль метронома в этой кампании сыграла тема «глубокой патриотичности», аранжированная идеей визионерства «великого русского народа». В фан-

тасмагорических пассажах пропагандистов «все прогрессивное человечество» оказывалось охваченным чувством «благоговения и уважения к историческому пути русского народа, к его качествам, ко всему совершенному им, в особенности в течение последнего советского периода его истории, к русским людям сталинской эпохи». Главным противником русского, советского патриотизма и был объявлен буржуазный космополитизм. В борьбе с химерами романтической идеологии мирового согражданства (ее усеченно-радикальной версией выступала, собственно, утопия всемирного братства пролетариев) явили себя заглавные идеи и решения «позднего» сталинизма: антиамериканизм как инструмент усиления автаркии, превентивное подавление демократических устремлений интеллектуалов, новый фронтальный натиск на инациональные начала в культуре и быту – натиск, имевший целью достижение небывалой «массовизации» общества.

На философской дискуссии в 1947 году, во время которой подверглась суровой критике книга руководителя Агитпропа Георгия Александрова «История западноевропейской философии», Жданов выступил против разделения западноевропейской и русской философии. «Классической русской философией» называется лишь материалистическая, которая впервые связывалась с наименее оригинальными авторами – Белинским и Герценом, Чернышевским и Добролюбовым, являющимися последователями соответственно Гегеля и Фейербаха. В этом изобретении скрывались помимо национальных соображения политические. Чтобы объяснить возникновение ленинизма-сталинизма как «вершины русской философии» и «русской культуры», надо было показать, что Ленин и Сталин являются непосредственными преемниками русских революционных демократов.

Статья Сталина «Относительно марксизма в языкознании» (1950 год) стала еще одним прояснением идеологических намерений власти. Казалось бы, ученые должны изменять принципиальные положения марксизма в зависимости от объективных данных той или иной науки. Но дело в том, что Сталин не отверг в принципе примат марксизма над всеми остальными науками, не давал никакого конкретного рецепта или примера пересмотра тех или иных марксистских формул в соответствии с новыми вызовами. Получалось,

что если советский ученый будет держаться за цитаты классиков марксизма, то он может быть обвинен в вульгаризаторстве, любой же отход от буквы марксистского учения повлечет за собой кару за пренебрежение к марксизму, аполитичность и космополитизм. То есть наилучшим выходом для ученых являлась такая игра в «интеллектуальную свободу», где одновременно главным судьей и главным игроком, обреченным на выигрыш, был только Сталин – по каждому конкретному вопросу лишь он мог дать ответ как единственный авторитет. Конечно, в игре по таким правилам и творческая свобода могла быть только у него.

Но вряд ли все это могло заново скрепить послевоенное общество. Нужна была формула новой великой цели, равной по своей энергии Октябрю. Сталинское окружение искало и нашло эту цель – построение в ближайшие 20–30 лет коммунистического общества. Для определения путей к этой невиданной цели, которая мыслилась стержневой в новой (третьей) Программе ВКП(б), была создана программная группа. В нее вошли Марк Митин и Павел Юдин, Петр Поспелов, Дмитрий Шепилов и Михаил Иовчук, Петр Федосеев и Константин Островитянов, Лев Леонтьев и Отто Куусинен. В отдельных проектах, в частности последней пары, выдвигались весьма смелые по тем временам предложения, к примеру о необходимости ограничения срока пребывания в партийных и советских выборных органах, о выдвижении нескольких кандидатов на выборах депутатов в Советы всех ступеней. В окончательном варианте проекта новой программы эти предложения приняты не были. Впрочем, и сам проект, уже отпечатанный типографским способом, был сдан в архив, а XIX съезд партии отложен.

Осенью 1947 года в ЦК ВКП(б) и правительство был сдан и проект Генерального хозяйственного плана, рассчитанного до 1965 года – времени предполагаемого вступления страны в коммунизм. К этому рубежу, то есть через 20 лет, СССР должен был перегнать главные капиталистические страны по показателям промышленного производства на душу населения, а главное, одну третью часть потребляемого народного дохода распределять по потребностям (сначала – хлеб, картофель, а затем – «почти все» продукты питания). В основу расчетов была положена «развитая товарищем Сталиным теория о возможности построения коммунизма в одной стране».

Идея нового «скачка», стремление в кратчайшие сроки создать коммунистическое общество, конечно, не считались ни с реальной послевоенной действительностью, ни с желанием людей участвовать в очередном экстагическом действии, навязываемом сверху, снова выкладываясь на пределе физических возможностей. И здравый смысл взял верх – проект Генплана также был сдан в архив.

Поисковая активность в определении путей послевоенного развития была характерна и для российских интеллектуалов. Однако в открытых формах она проявилась только в эмиграции. В 1949 году Владимир Поремский, один из лидеров Народно-трудового союза, выпустил книгу «К теории революции в условиях тоталитарного режима». В этой работе излагалась так называемая молекулярная доктрина, описывавшая, по мнению автора, единственно возможную в условиях советской действительности оппозиционную сеть «массово-молекулярного типа», в которой по конспиративным соображениям минимизирована организационная структура, зато максимально «наэлектризованы» идейная общность членов и единство их действий. Вопреки представлениям о классическом подполье подобная архитектура позволяет системе оставаться открытой и – благодаря этому – «сросшейся» с остальным обществом. Такую организацию уместно сравнить с электромагнитным полем – заграничный центр придает деятельности необходимую «гравитацию», выстраивающую определенным образом конструкции «членов-молекул».

Конечно, далеко не только маргинальный НТС, выполнявший свои функции лишь в контексте других центров идеологического обеспечения холодной войны, занимался проектированием советского общества по определенным лекалам. Важно другое – вышедшая из его недр «молекулярная доктрина» дала внятные ориентиры и описание определенного социального процесса. Сама доктрина также возникла не на пустом месте: она – порождение той части русской эмиграции, которая считала сталинский режим главным мировым злом, в борьбе с которым оправданны любые средства – вплоть до сотрудничества с нацистской Германией. В рамках подобной мировоззренческой установки и предпринимались попытки смыслового проектирования. Документы власовского Русского освободительного движения – Смоленская декларация (1942 год), Пражский

манифест (1944 год) – рисовали картину будущей процветающей России, освобожденной от большевиков совместными усилиями немецкой армии и перешедших на ее сторону русских людей (как военных, так и гражданских).

Этого не могли сделать интеллектуалы в СССР. Но вот художник Павел Корин неожиданно в конце 40-х годов возвратился к своим эскизам «Марша в будущее» для Дворца Советов. В сделанных им картонах колоссального фриза символика мифов соцреализма была доведена до парадоксальной кульминации. Тема «светлого пути», мотив победного шествия казались предельно определенными, однако «вся гуманистическая подоплека, изначально искренний утопизм соответствующих образных представлений теперь поглощался крайней гипертрофией внешнего выражения» (Александр Морозов). Поступь обнаженных гигантов с экстатически поднятыми руками походила на устрашающий обряд языческих инициаций. Корин как бы останавливал своих зрителей непосредственно у критической черты. За ней, по всей видимости, и находился крах советского мифа.

НАСТУПЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ НА ВЛАСТЬ

Смерть Сталина и разворачивавшаяся в мире научно-техническая революция снова отодвинули советское общество от этой критической черты. Не только в СССР, но и в других странах люди попали под сильное впечатление от начала освоения космоса, использования атомной энергии, создания синтетических материалов, массового распространения ЭВМ. Каждое из таких достижений было столь внушительно, что поначалу одни предлагали считать XX столетие веком атома, другие – веком космоса, третьи – эрой кибернетики. Потом появилось всеобъемлющее понятие – научно-техническая революция. Коммунистическая власть взяла НТР на вооружение и даже полагала, что осуществить эту революцию, этот скачок в будущее может только социализм.

В начале 60-х Никита Хрущев и его окружение полагали, что для создания материально-технической базы коммунизма достаточно будет двух десятилетий. Обосновывалось это простой экстрапо-

ляцией среднегодовых приростов основных показателей, достигнутых на волне общественного подъема в 1957–1961 годах. Сказались господствовавшие тогда упрощенные представления о том, будто общественное развитие СССР идет теперь по гладкой дороге, будто мы теперь поднялись и вышли на такое широкое плато, когда главные трудности позади, за перевалом, и перед нами прямой и короткий путь к цели. По мнению историка Елены Зубковой, подобные взгляды имели под собой реальную социально-психологическую основу и сложились в довоенные, военные и послевоенные годы, когда образовался своеобразный комплекс, который включал в себя ощущение «податливости» окружающего мира. Журналист Николай Петров вспоминал, что, когда он учился в школе, ему «иной раз казалось, что настанет время и диктор Юрий Левитан объявит по радио, что с такого-то числа такого-то месяца и такого-то года в стране объявляется полный коммунизм».

В этих условиях власть не задумывалась о трансформации марксистской теории. Однако идея движения к качественно новому мировоззрению не осталась «бесхозной». На фоне возникших – в основном уже после XX съезда – достаточно многочисленных подпольных и полуподпольных неомарксистских кружков и семинаров ее, в частности, разрабатывал совершенно легальный Московский логический (позже – методологический) кружок, в той или иной геометрии объединявший Александра Зиновьева, Георгия Щедровицкого, Бориса Грушина, Мераба Мамардашвили. Правда, теперь методологические изыскания велись уже на голом энтузиазме, по иронии судьбы превратившись, как саркастически заметил Александр Зиновьев (в книге «В преддверии рая» – этой своеобразной энциклопедии интеллектуальной жизни эпохи «застоя»), в «квинтэссенцию и суть оппозиционности» советскому строю.

Заметной вехой методологического движения стал вышедший в 1965 году сборник «Проблемы исследования систем и структур». Изложенные в нем Георгием Щедровицким, Олегом Генисаретским, Эриком Юдиным, Владимиром Лефевром, Вадимом Садовским, Александром Ахиезером и целым рядом других авторов идеи могли бы отрегулировать забуксовавший к этому времени политический механизм и – в определенном смысле – наметить русскую цивилизационную альтернативу. В области одной лишь управленческой

технологии издание формулировало многочисленные инновационные предложения: от алгоритмов моделирования сложных систем до схем деятельного употребления рефлексивных практик. Наукообразный формат книги существенно отличался от публицистики прежних манифестов – не только по цензурным соображениям, но и в силу того, что наступавшая эпоха требовала от концептуальной власти нового проектного языка. Языка, активно отторгаемого властью политической – партийно-бюрократической номенклатурой, погружавшейся в пучину персональных интриг, уплощавшейся и все более сраставшейся с теневой экономикой.

Смысловая деконструкция Советской империи происходила по нескольким направлениям. Репрезентативны в этом отношении три известных сборника-манифеста: изданный за границей «Из-под глыб», самиздатовский «Метрополь» и уже совершенно легальный «Иного не дано».

Вышедший в 1974 году сборник «Из-под глыб» указывал определенный вектор движения диссидентским «молекулам», однако предназначение свое видел не столько в идейной борьбе с режимом, сколько в «инвентаризации» оставшихся в стране творчески состоятельных интеллектуальных сил. «Умерла Россия или жива и может возродиться?» – так звучал ключевой вопрос сборника. Сам факт издания декларации подсказывал оптимистичный ответ. «Метрополь», выпущенный в 1978 году, с точки зрения его социального содержания более прост и прямолинеен. Идентификация сборника как проектного может показаться спорной. В его системообразующих публикациях – Виктора Ерофеева, Василия Аксенова, Андрея Битова и других – гораздо больше утонченного эпатажа, нежели социально ориентированных суждений. Однако сам феномен альманаха – а в особенности две его публикации: оппозиция Виктора Тростникова и Леонида Баткина – ставил издание в ряд коллективных деклараций. Названный спор доходил до взаимного отрицания позиций, что, надо отметить, было совсем нетипично для самиздата. Хотя указанные авторы, в общем-то, и не спорили между собой: они просто провозглашали взаимоисключающие идеологии. Первый указывал один из путей возвращения заблудшей в сциентистских «дебрях» души к Богу. Второй утверждал за культурой – как главным смыслом и высшей ценностью – право са-

мостоятельно («лучше ей не мешать») выносить вердикт: что есть живое, а что – мертвое.

Предпоследним сюжетом коллективных деклараций советского периода стал в 1988 году сборник «Иного не дано». Перестройка предложила расписание на будущее, связанное с построением правового государства, демократией и гласностью, избавлением от гнета партийной теократии. Шестидесятники – дети XX съезда – так хотели «исправить и обучить власть», так стремились «достроить социализм». И Михаилу Горбачеву казалось, что, ликвидировав «болевые точки», взяв из опыта революции то, что нам необходимо, мы снова выйдем на дорогу к «новому миру – миру коммунизма» и с этой дороги «мы не свернем никогда». Юрий Афанасьев, Татьяна Заславская, Андрей Сахаров, Виталий Гинзбург, Василий Селюнин, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Андрей Нуйкин и иные «прорабы нового мышления» впервые в истории интеллектуальных манифестов интеллигенции напрочь отвергли мысль о самобытности России. Авторы, напротив, говорили в основном об императивном характере догоняющей модернизации.

А финальным советским сборником-манифестом стала увидевшая свет в 1990 году «Постперестройка», подготовленная Сергеем Кургиным, Юрием Громыко, Владимиром Овчинским и их единомышленниками. В определенной мере подхватывая идеи методологического движения, книга продемонстрировала возможности рефлексивного социокультурного моделирования применительно к многоуровневому характеру вызовов эпохи. Более того, авторы данного манифеста сумели заглянуть за горизонт и превентивно реконструировать феномен того, что на страницах книги было обозначено термином «постперестройка». Но декларация эта осталась гласом вопиющего в пустыне, хотя предугаданный авторами не слишком оптимистичный сценарий вскоре во многом осуществился на практике.

ИСЧЕРПАЛИ ЛИ СЕБЯ ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО?

Знаменательно, что началу последнего десятилетия века аккомпанировала – от Нью-Йорка до Москвы – крупнейшая выставка русско-советского авангарда 1915–1930 годов. С лозунгом «Время, вперед!»,

с призывом «Загнать клячу истории!». Так происходило прощание с великим советским мифом. Вопреки Николаю Бердяеву XX век не стал столетием «осуществимой утопии».

Власть всерьез осваивала либеральный и демократический проекты и уже не уповала на чилийский или китайский варианты возрождения России. Западная цивилизация представляла как непревзойденный образец, которому предстоит следовать в обозримом будущем. К тому же общество активно обсуждало проблему «конца истории» по Фрэнсису Фукуяме. Кое-кто стал накладывать принципиальный запрет на любое предвидение нового: в истории кончилось то, во что можно погружать новые гносеологические конструкции, – ничего нового больше не будет онтологически. С этим категорически не согласились авторы четырехтомника «Иное». Вышедший в 1995 году, уже в постсоветской России-РФ, он по самому названию претендовал на альтернативу отошедшему в прошлое перестроечному «официозу». Впервые в истории интеллектуальных манифестов целевой аудиторией сборника провозглашался его авторский коллектив, объединивший столь разных и несхожих мыслителей, как Михаил Гефтер и Теодор Шанин, Александр Панарин и Симон Кордонский, Владимир Махнач и Петр Щедровицкий, Сергей Кургинян и Андрей Фадин, Вадим Цымбурский и ряд других оригинальных, самобытных аналитиков.

Руководитель проекта Сергей Чернышев поставил перед своими коллегами крайне интересные вопросы. Должна ли речь идти об отсутствии будущего – или об исчерпанности образов будущего? Точнее, в какой из ситуаций мы находимся? Мы не можем принципиально усмотреть образы будущей истории, потому что она закончилась? Потому что наши образы так устроены (то есть оборачиваемы только назад, в прошлое)? Или просто у нас не оказалось под рукой подходящих идеальных типов? Смыслом же позиции самого Чернышева, который избежал конкретного конструирования образа будущего, было приведение в движение идеи Истории, идеи России.

Практически авторы охватили своим вниманием все ключевые сферы общественной жизни страны. И у современного читателя есть возможность сравнить сделанные 13 лет назад предвидения с сегодняшней действительностью.

Симон Кордонский посвятил свой анализ экономике. По его мнению, в предвидимом будущем Россия превратится в уникальное полигосударственное образование с развитым топливно-сырьевым комплексом, превращенным (транснациональными корпорациями, в частности) в рычаг давления на организации экспортеров третьего мира, с эффективными и агрессивными финансовыми институтами, претендующими на существенную часть мирового финансового рынка, и с примитивным, но быстро развивающимся сельским хозяйством. В ограниченных масштабах будут развиваться перерабатывающие и машиностроительные производства, основанные на высоких технологиях. Большая часть гигантских сельхозпредприятий, заводов и фабрик – символов эпохи «догнать и перегнать» – исчезнет с экономической карты, но останется на политической. Главное богатство страны – сырье и образованные люди, имеющие огромный опыт работы на административном рынке, – может (при наиболее благоприятном исходе) конвертироваться в финансовые империи, где деньги будут делать деньги, лишь в минимальной степени загрязняя окружающую среду.

Вадим Радаев, представляя настоящее и будущее идеологических систем, со всей определенностью заявил, что перемены в политике не заставят томиться в ожидании, а президент России далеко не либерал и не демократ. Аппарат большей частью никуда не уходил. В этих условиях либерально-демократическая интеллигенция «вынуждена будет вернуться» к столь привычным ей исторически оппозиционным ролям, чтобы сохранить свои «наполовину дискредитированные политическими практиками» сценарии будущего развития. Видимость острой борьбы за свободу и демократию будет сохраняться, но основная идейная борьба поведется на иных фронтах – между социалистическими, национал-патриотическими и другими формами самого консерватизма. Все идеологические течения будут стремиться к какому-то союзу с ним. Даже если социализм будет поноситься на каждом углу, от его налета новому консерватизму не очиститься.

Андрей Фадин рассуждал о структурных аспектах жизни общества и подчеркивал значение катастрофы как неизбежного и необходимого момента модернизации России, ее интеграции в доминирующую западную мир-экономику. Один из важнейших факторов этого – судьба массового советского среднего класса. Именно

он, сокрушив прежнюю систему, оказался перед лицом распада и уничтожения. Меньшая его часть, правда, успешно встраивается в рыночные институты, персонифицируя образы новой буржуазии, или становится «компрадорской интеллигенцией», живущей на западные гранты. Большая же часть все более сближается с группами наемных работников, утрачивая самоощущение культурной «белой кости», ностальгируя по статусу брежневского двадцатилетия. Именно в этой среде зарождается самосознание класса наемных работников. «Делай, что нужно рынку, или иди на дно» – таков жестокий, по Фадину, императив катастрофы. Ему противостоят представления о престиже профессии и образования, традиционная сетка социальных статусов. Каждый шаг реформистов сравнивается в сознании народа с закономерно мифологизированным уровнем благополучия «застоя». Катастрофа же приходит не извне (война, стихийное бедствие и др.), а в результате действий реформистов. Именно поэтому можно сказать, что функция катастрофы в социально-психологическом плане будет состоять в глубинном смещении координат сравнения. «Через отчаяние, отрешение от мифов люди уже учатся опираться на себя, а не на государство. <...> Фактически речь идет о настоящей революции традиционно этатистского российского исторического сознания».

Владимир Махнач рисовал три возможных сценария будущего: изоляция, которая породит «пренеприятнейшее государство, отпихивающее всех», возвращение к имперскому самосознанию, культурологическая «ориентация на верность органичной» восточнохристианской культуре (последние два сценария не являются взаимоисключающими).

Для такого гиганта, как Россия, утверждал Александр Панарин, «постмодернистскую индустрию», связанную с коммерческой эксплуатацией доиндустриального «пейзажа» ремесленничества, вряд ли стоит принимать за достаточную «модель модернизации». Перспективное и разумное решение для России, по мнению мыслителя, – в разработке великого евразийского проекта: освоении специфической цивилизационной модели, отличной как от старой, атлантической, так и от послевоенной, тихоокеанской. Обществу предстоит не только технологический, но и «духовный переворот таких масштабов, которые сопоставимы с Реформацией или Просвещением в Европе». Для

Панарина вдохновительная гипотеза евразийства заключалась в том, что судьбы постиндустриальной эпохи представлялись ему в значительной мере зависевшими от судеб России. Восстановит Россия свой статус Третьего Рима – тогда повысятся шансы постиндустриального общества стать альтернативой мировому индустриальному гетто, враждебному природе и культуре. Миссия России – способствовать полицентризму (плюрализм цивилизаций) путем создания противовеса моноцентричной модели, насаждаемой США.

Чтобы при всем разнообразии представленных позиций получился хоть какой-то ценностно-мотивационный сплав, авторы сборника приглашались к продолжению диалога за пределами издания. Так родился проект «Русского журнала», реализовывавшего тему национального интеллектуального сообщества в новой среде Интернета (с 1997 года). Период этот стал временем формирования нового феномена – российских электронных интеллектуальных площадок.

Любопытным эпизодом на рубеже веков/тысячелетий стала контроверза пролужковских «Красных холмов» (1999) (Геннадий Лисичкин, Вадим Белоцерковский, Юрий Пивоваров, Андрей Фурсов, Вадим Межуев, Сергей Волков, Михаил Гаспаров, Юрий Буртин и другие) и вышедшего двумя годами позже, после окончательного торжества Путина, «Нового режима» – этот заочный спор России прошлого и России настоящего, которая, кстати говоря, так и осталась только проектом, поскольку формировавший «новый курс» интеллектуальный класс оказался фактически не востребовавшим в своем полноценном качестве ни прежним, ни новым режимами, оставаясь на задворках «политтехнологической режиссуры». Стилистическая разница «Красных холмов» и «Нового режима» бросается в глаза: обширные тексты авторов первого сборника и серия коротких интервью – второго. Готовность принять «новую бюрократию» под знаком социал-демократии или просвещенной элиты «Русской системы» и попытка выработать посредством обращения к различным левопостмодернистским, правоконсервативным и даже националистическим идеологическим моделям альтернативный бюрократическому «дискурс» в качестве определяющего социального и ментального вектора наступающей эпохи. Попытка амбициозная, но, судя по всему, не оказавшаяся удачной.

* * *

В XX веке не только оформились, но и сложно сосуществовали политический и интеллектуальный «абсолютизмы будущего». Движение к нему вобрало в себя, по наблюдениям Сергея Чернышева, и ожидание на перегонах, которое «до того беспросветное, что колеса прикипают к ржавеющим рельсам», и отчаянные рывки-погоны, «от которых рвутся паровые котлы», и каторжные подъемы, «где пассажиры бредут впереди локомотива, прокладывая рельсы», наконец, безумные броски через пропасть, «когда на лету, не оглядываясь на отрывающиеся вагоны, надо успеть переделать паровоз в самолет». В результате многие предпочли «жить настоящим». Что же способно реабилитировать будущее, вдохнуть в него новые смыслы? «Осуществимая утопия» для XXI века? Влиятельная духовная корпорация? Смена самого типа развития? Покажет будущее.

ПОЛИТИЯ БУДУЩЕГО
